

# Библиография

Алексей Васильев, Виктория Васильева

## Империя, либерализм, национализм:

ПРЕОДОЛЕВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_188\_4\_356

**Рэмpton В. Либеральные идеи в царской России /**

Пер. с англ. И. Нахмансона.

СПб.: Academic Studies Press; Библиороссика, 2024. — 312 с. — 150 экз.

(Современная западная русистика).

**Rabow-Edling S. Liberalism in Pre-Revolutionary Russia:  
State, Nation, Empire.**

L.; N.Y.: Routledge, 2019. — VIII, 138 p. — (Routledge Studies in Modern History; vol. 40).

**The Tsar, the Empire, and the Nation:  
Dilemmas of Nationalization in Russia's Western Borderlands,  
1905—1915 / Ed. by D. Staliūnas, Y. Aoshima.**

Budapest; N.Y.: Central European University Press, 2021. — VI, 401 p. —

(Historical Studies in Eastern Europe and Eurasia; vol. 5).

Для анализа российской интеллектуальной культуры, как представляется, вполне применимо понятие духовного (или ментального) оснащения (*l'outillage mental*), предложенное в свое время Люсьеном Февром в качестве инструмента, позволяющего понять способ восприятия мира человеком XVI в. Это «оснащение» включает в себя не только интеллектуальные концепты, но и определенные связанные с ними эмоции. К их числу принадлежат, в частности, интересующие нас здесь явления из истории российской политической традиции: либерализм, империя и нация (национализм). Из этих элементов, и не только в российской традиции, давно уже сложилась определенная конструкция, своеобразная «докса». Выглядит она приблизительно так: либерализм «органически» несовместим с Россией и оттор-

гается российской реальностью<sup>1</sup>; либерализм не имеет ничего общего с национализмом и империей; империя олицетворяет отсталость и архаику и не имеет ничего общего с нациями, которые олицетворяют прогресс и современность; национализм охотно смешивается с империализмом, а оба они вместе — с шовинизмом. Основная трудность, с которой встречается исследователь, пытающийся аналитически распутать этот клубок, заключается в том, что, с одной стороны, каждое из названных понятий (в том числе и в российском интеллектуальном контексте) имеет собственную историю и связанное с нею многообразие определений, а также зачастую отличается большей или меньшей размытостью границ; с другой стороны, за каждым тянется длинный шлейф культурно-политических коннотаций и связанных с ними чувств и эмоций. Однако в последнее время как исследователи-россиеведы, так и специалисты по теории и истории нации и национализма (а также по «новой имперской истории») начали весьма успешно работать в направлении переосмысления и прояснения реального исторического содержания и историко-культурной генеалогии указанной «доксы». Книги, которые будут здесь рассмотрены, репрезентируют определенный этап этого интеллектуального движения.

Отправной точкой в анализе нам послужит российский либерализм. Эта тема в интеллектуальной традиции как нельзя лучше иллюстрирует феномен экзотизации России. Причем прибегают к приему экзотизации как внутренние российские, так и внешние акторы, создающие то позитивные, то негативные образы «загадочной России», к которой якобы неприменимы «западные» категории анализа, поскольку и сами явления западной мысли и политической культуры (либерализм в первую очередь) здесь не приживаются. Этот отказ «умом Россию понимать» создает прекрасную почву для трогательного альянса западных русофилов, умиляющихся неповторимой экзотике «духовности», и внутренних реакционеров-консерваторов, защищающих свои позиции ссылками на «особый путь» России. Во многом это связано с тем, что в мировом россиеведении долгое время доминировали романтически настроенные филологи, сосредоточенные на уникальности языка и литературы, заключающих в себе «загадочную душу» изучаемой страны, и мало склонные к социально-историческим обобщениям и сравнительному анализу.

Серьезный вызов этой модели был брошен в конце 1950-х — 1960-х гг. Варшавской школой истории идей, среди представителей которой для нас наиболее важен Анджей Валицкий. Его посвященная российскому славянофильству книга «В кругу консервативной утопии» была издана в Варшаве в 1964 г.<sup>2</sup> Она стала определенным рубежом в интересующем нас аспекте, поскольку в ней российское славянофильство было полностью лишено ареала какой бы то ни было уникальности и поставлено в один ряд с более или менее современными ему проявлениями европейской консервативной мысли, общая парадигма которой была выявлена в конце XIX в. Фердинандом Теннисом, выдвинувшим дихотомию «общность — общество». В 1987 г. вышла (по-английски; польск. пер. — 1995) книга Валицкого о российском либерализме, открывшая интересующую нас здесь перспективу взгляда на это явление<sup>3</sup>. Автор начинает книгу с констатации: «Россия редко ассоциируется с такими поня-

- 
- 1 Характерно название самой важной в сегодняшней российской историографии биографии П.Н. Милюкова: *Думова Н.Г.* Либерал в России: трагедия несовместимости: исторический портрет П.Н. Милюкова. М.: [Ин-т российской истории РАН], 1993.
  - 2 Рус. пер.: *Валицкий А.* В кругу консервативной утопии: структура и метаморфозы русского славянофильства / Пер. с польск. К. Душенко. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
  - 3 *Валицкий А.* Философия права русского либерализма / Пер. с англ. О.Р. Пазухина и др. М.: Мысль, 2012.

тиями, как либерализм и право», и тут же приводит «ходячий образ русской интеллектуальной традиции как традиции, враждебной либерализму и праву, связанной с негативным отношением к закону — как слева, так и справа»<sup>4</sup>. Либеральная интеллектуальная традиция, по мысли Валицкого, была в России гораздо более развита, чем об этом принято думать. Самое важное и оригинальное ее достижение — разработка философии права. В этом проявилась и определенная специфика российского либерализма, так как в отличие от многих западных версий либерализма ценность права здесь не постулируется как аксиома, а тщательно обосновывается в полемике правыми и левыми версиями «правового нигилизма». Валицкий не спорит с тем, что подозрительное отношение к праву, антиправовые предрассудки действительно были присущи российской культуре. Именно поэтому российские либеральные мыслители и должны были сосредоточиться прежде всего на защите права. Однако, — и в этом польский исследователь не видит никакой «тайны русской души», —

более близкое изучение традиционных русских антиправовых взглядов <...> приводит к выводу, что не следует преувеличивать их специфически русские черты. Враждебное или по крайней мере глубоко подозрительное отношение к рациональному правопорядку можно в большей или меньшей степени обнаружить во всех остальных и периферийных обществах, а особенно в тех, где модернизация приняла вид вестернизации и где поэтому современная правозаконность представляется враждебной их самобытной культуре и свойственной только Западу. В дореволюционной России такая тенденция была, вероятно, особенно выразительна. Но справедливо ли приписывать это природной вражде между русским характером и духом законов? Мое отношение к этому скорее скептическое. Более пристальное изучение русской мысли XIX в. показывает скорее, что во многих случаях характерная для нее антиправовая настроенность имеет западное происхождение<sup>5</sup>.

Российская интеллигенция сформировалась в ту эпоху, когда «юридическое мировоззрение» XVIII — начала XIX в. с присущими ему понятиями естественного права и общественного договора уже стало казаться анахронизмом и вытеснялось более «актуальными» (по сути антилиберальными) направлениями «исторической школы права» и правового позитивизма. Единственным исключением на этом фоне выглядит, как отмечает Валицкий, Радищев, сформулировавший вполне зрелую форму либерального мировоззрения. В дальнейшем же русская интеллигенция знакомилась прежде всего с западной критикой идеи естественного права и разными версиями «неоромантического антикапитализма», прежде всего немецкой. Именно поэтому специфически российский характер правового нигилизма российской интеллигенции не следует преувеличивать. Борис Чичерин, Владимир Соловьев, Лев Петражицкий, Павел Новгородцев, Богдан Кистяковский, Сергей Гессен — авторы, взгляды которых анализирует Валицкий, — создали, по его мнению, мощную традицию защиты либеральной ценности права, стоящую на самом высоком мировом интеллектуальном уровне.

Две рассматриваемые ниже монографии, одна — написанная доктором наук, сотрудником кафедры философии Федерального швейцарского технологического института Ванессой Рэмптон, другая — доцентом, старшим научным сотрудником Института российских и евроазиатских исследований Упсальского университета

4 Там же. С. 9. Автор указывает на необходимость преодоления «холодно-военного образа России как страны, естественным образом породившей коммунистический тоталитаризм и органически неспособной к либеральной демократии» (с. 17).

5 Там же. С. 9—10.

(Швеция) Сюзанной Рэбоу-Эдлинг, представляют именно это, обозначенное Валицким, направление изучения российского либерализма. Речь идет о сравнительном анализе российского и западного либерализма, демонстрации его значения для общемирового либерального течения мысли и политической практики, раскрытии до сих пор не привлекавших к себе внимания черт российского либерализма, которые объединяют его с соответствующей западной традицией, а также выявлении его специфических черт.



*Ванесса Рэмpton* в книге «Либеральные идеи в царской России» (2020, рус. пер. 2024) рассматривает историю российского либерализма «долгого XIX в.» — от Екатерины II до 1917 г. — с кульминацией в 1900—1914 гг., когда либерализм в России оформился как политическое движение. Россия для либерализма оказывается своего рода лакмусовой бумажкой, выявляющей его характерные черты. Прежде всего российский либерализм показывает сложность и неоднородность либеральной доктрины, необходимость каждый раз приспособлять ее к различным и зачастую, как в случае с Россией, весьма неблагоприятным условиям: «Глубокая продуманность, свойственная учениям российских либеральных мыслителей,

и та исключительная политическая ситуация, в которой они, как правило, находились, делают историю российского либерализма идеальным объектом изучения для исследователей, интересующихся конфликтом между либеральными ценностями и свободами и тем, как влияют друг на друга теория и конкретные исторические обстоятельства...» (с. 45—46), — пишет исследовательница. Ее оценка главных достижений российского либерализма в целом совпадает с мнением Валицкого: прежде всего эти достижения находятся в области теории. Рэмpton обращает внимание на своеобразие российского либерализма, выражавшееся, среди прочего, в дилемме поддержки реформ государственной власти или поддержки революции против власти с целью установления правового государства, а также в настороженном отношении к идеям демократии и права широких масс участвовать в политике и, напротив, менее настороженном, чем на Западе, отношении к государственному вмешательству в экономическую и общественную жизнь (Павел Милюков замечал в связи с этим, что российские кадеты — самая левая из аналогичных политических партий Европы).

Однако являются ли все эти черты чем-то специфически российским? Либерализм как философско-политическая доктрина прошел длинную историю, которую начинают обычно с XVII в., называя в числе основоположников Джона Локка, а то и Томаса Гоббса. Апогей развития и влияния либерализма пришелся на Британию XIX в. В XX столетии либерализм подвергся трансформациям, связанным с необходимостью отвечать на разнообразные (прежде всего левые) вызовы, а также с тем, что многие из некогда основополагающих идей и лозунгов либерализма превратились в банальные общие места (например, идея прав человека). Самой ранней формой либерализма вообще был религиозный либерализм — не случайно первой иностранной книгой, которую приказал перевести и издать Петр I, были «Письма о веротерпимости» Локка. В России эта европейская повестка XVII—XVIII вв. была актуальной вплоть до революции 1905 г. Другой важной формой либерализма был либерализм экономический. Поэтому политический либерализм как таковой не был ни самой ранней, ни единственной его формой. «Нет и не было единого канона либеральной мысли», — отмечает выдающийся историк социаль-

ных идей Ежи Шацкий<sup>6</sup>. Фактически интегрирующими все это многообразие идей положениями, позволяющими назвать ту или иную доктрину либеральной, являются программный индивидуализм и идея благотворности невмешательства внешним регулированием в спонтанно возникающий порядок. И эта констатация чрезвычайно важна для понимания специфики российского либерализма, а иногда и самой возможности квалифицировать столь якобы непохожие на западные идеи российских мыслителей как либеральные. Согласно с этим положением и Рэмптон: «...Никогда не существовало какой-то консолидированной и четкой либеральной позиции ни по одному вопросу: ни по объему основных прав и свобод, таких как свобода слова, ни по роли государства в борьбе с социальным неравенством, ни по положению и роли национальных меньшинств в либеральном обществе, ни даже по революции. Либеральное решение проблемы соблюдения равновесия между различными видами свободы всегда зависит от условий места и времени» (с. 245).

Видеть в присущих порой российским либералам политическом радикализме и склонности к революционности некое отклонение от «канона либеральной мысли» едва ли оправданно. Разве не были революционерами американские и французские сторонники либеральных идей XVIII в.? Да и позднее, у западных либералов XIX в., отношение к революции не было однозначно негативным. Они признавали ее закономерный и неизбежный характер, осуждая главным образом ее крайности и жестокости. «Либералы, — писал Стенли Меллон об историках эпохи Реставрации, — вынуждены искать способ защиты Революции, одновременно отвергая упреки в том, что они революционеры... Они изобретают метод, и этим методом является история. История должна была стать территорией, на которой либералы могли бы инсценировать и оживлять революционные битвы, защищать свою позицию, оставаясь неприкосновенными под защитой безликой музыки»<sup>7</sup>.

Рэмптон отмечает также настороженное отношение российских либералов к идеям равенства, демократии, требованиям права участия в политической жизни для широких народных масс (с. 37). Это обычно объясняется спецификой России с ее огромным неграмотным крестьянским населением и описывается как слабость позиции российских либералов. Но так ли это специфично именно для российских либералов? Учитывающие опыт революционного террора во Франции западные либералы XIX в. выступали не только против тирании государства (подобно своим предшественникам-просветителям, обличавшим королевский деспотизм), но и против «тирании толпы». Как нельзя более отчетливо Алексис де Токвиль показал, что требования свободы и равенства отнюдь не согласуются друг с другом естественным и органическим образом. Демократическое равенство легко может стать угрозой свободе ничуть не меньшей, чем персональный деспотизм тирана. Собственно, именно уникальный опыт гармонизации свободы и равенства заинтересовал французского либерала в США, о чем в конечном итоге и была написана его «Демократия в Америке». Такой безусловный классик либеральной мысли, как Джон Стюарт Милль, в эссе «О свободе» отмечал: «...Народная власть может иметь побуждение угнетать часть народа, и поэтому против ее злоупотреблений также необходимы меры, как и против злоупотреблений всякой другой власти»<sup>8</sup>. Поэтому можно вполне уверенно утверждать, что в пресловутом «страхе» российских

6 Шацкий Е. История социальной мысли: [В 2 т.] / Пер. с польск. под общ. ред. А. Васильева. М.: Новое литературное обозрение, 2018. Т. 1. С. 195.

7 Mellon S. The Political Uses of History: A Study of Historians in the French Restoration. Stanford, CA: Stanford University Press, 1958. P. 1. (Цит. по: Шацкий Е. Указ. соч. С. 239.)

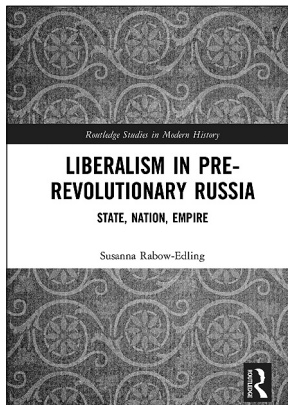
8 Милль Дж.С. О свободе // О свободе: Антология западноевропейской классической либеральной мысли / Отв. ред. М.А. Абрамов. М.: Наука, 1995. С. 290—291.

либералов перед «народными массами» было не так уж много чего-то уникально российского.

Что же касается более благосклонного отношения российских либералов к государственному вмешательству, то сама Рэмптон замечает: «...Как правило, российские мыслители с меньшей тревогой воспринимали вмешательство государства в общественную, экономическую и культурную жизнь граждан, чем их западные единомышленники, что на самом деле было вполне в духе происходившей в течение всего XIX в. переоценки либералами роли государства — от вызывающего опасения репрессивного механизма до органа, который ради общего блага регулирует различные аспекты жизни сограждан» (там же).

В монографии Рэмптон дана более широкая панорама российского либерализма, чем в книге Валицкого. В зависимости от лежащих в основании либеральной доктрины философских оснований исследовательница выделяет два вида либерализма: позитивистский, представленный прежде всего Милоковым, и неоидеалистический: «Происходившее после 1890 г. во всей Европе переосмысление фундаментальных позитивистских принципов в России ознаменовалось наступлением Серебряного века и вызвало к жизни споры между либерально настроенными мыслителями о том, какими должны быть философские предпосылки, лежащие в основе учений о личности, свободе и истории. Так, в поисках новых форм для осознания происходивших в России процессов социально-культурной трансформации возникло новое течение — либеральный неоидеализм» (с. 51). Валицкого интересует фактически только последняя, неоидеалистическая версия — философия права, которую он обоснованно считает высшим достижением российской либеральной мысли.

Книга *Сюзанны Рэбоу-Эдлинг «Либерализм в дореволюционной России»* продолжает исследовательскую линию, связанную с помещением российского либерализма в общеевропейский контекст, но делает это иначе, тем самым расширяя перспективу видения российской либеральной традиции мысли. На этот раз речь идет о том, чтобы рассмотреть соотношение российского либерализма с идеями империи и нации.



Известно, что в европейской истории либерализм, империализм и национализм были достаточно тесно связаны друг с другом и составляли во многом один идейный комплекс. Вместе с тем на российском материале эти связи мало исследованы. Более того, на уровне общепринятого мнения в российском политическом сознании устоялось представление о том, что либерализм является чем-то абсолютно несовместимым с национализмом и идеей империи. Объяснение этого явления, вероятно, могло бы стать предметом обстоятельного исследования. Здесь мы лишь позволим себе высказать некоторые гипотезы. Сложившееся в российском либерализме отношение к национализму, очевидно, было связано с тем, что в период своего

наивысшего теоретического подъема и организационно-партийного оформления, то есть в конце XIX — начале XX в., российские либералы имели дело с антилиберальными и антидемократическими формами «интегрального национализма», распространившимися тогда по всей Европе. Это идейно-политическое явление сильно отличалось от либерального национализма конца XVIII — середины XIX в. (с пиком во время революций 1848 г.).

Идея нации, родившаяся в период Американской и Французской революций, была либеральной и совершенно неотделимой от идей свободы, естественного

права и народного суверенитета. Эта связь хорошо выражена в лозунге польского Ноябрьского восстания (1830—1831): «За нашу и вашу свободу!». Само конструирование нации как сообщества граждан, наделенных равными правами, было невозможно вне либерального комплекса идей. Отвергнув старые способы маркирования границ сообществ на основании сословности, подданства и вероисповедания, либерализм неизбежно оказывался перед проблемой поиска критерия определения границ «своего» политического сообщества, идентификации наделенными равными правами и свободами «своих». Именно принцип гражданского национализма и позволял решить эту проблему.

Однако во второй половине XIX в. (особенно к концу столетия) набирал силу «интегральный национализм», основанный на антилиберальных принципах коллективизма, вождизма и социал-дарвинизма. Нация представлялась организмом, участвующим в беспощадной борьбе за существование с другими подобными организмами. Выживает сильнейший, поэтому необходимы абсолютное сплочение, подчинение вождю, пренебрежение индивидуальными правами и свободами во имя единства и боеспособности народа, нравственный релятивизм. В России проявлением этого общеевропейского тренда<sup>9</sup> были черносотенцы и подобные им праворадикальные группы. Нет ничего удивительного в том, что оформлявшийся во враждебном противостоянии с ними российский либерализм усвоил идею своей коренной несовместимости с подобным антиевропейским, антимодерным этническим национализмом. Это, однако, не мешало российским либералам (как и их западным единомышленникам) вырабатывать собственные проекты и модели либерального национализма.

Империализм на Западе также вполне органично сочетался с империализмом и колониализмом. Собственно, «точкой сборки» здесь выступала эволюционистская доктрина, господствовавшая в науке и, шире, мировоззрении Европы второй половины XIX в. Идея о необходимости помочь менее развитым народам в их движении по пути прогресса, просвещения и свободы делала для либерала вполне приемлемой и даже неизбежной поддержку имперского господства. Так, например, просвещенная либеральная имперская бюрократия Александра II смотрела на Январское восстание (1863—1864) в Царстве Польском как на реакционное движение средневековых сословий шляхты и католического духовенства против модернизации и прогресса. Что касается восприятия соотношения либерализма и империи на российской почве, то здесь, вероятно, сыграло роль то обстоятельство, что именно кадеты были наиболее яркой парламентской оппозицией накануне свержения монархии, а высшая точка политического влияния российских либералов пришлась на период крушения Российской империи — от февраля до октября 1917 г. Поэтому, несмотря на достаточно умеренную позицию кадетов («оппозиция Его Величества, а не Его Величеству»), за российскими либералами закрепился имидж врагов и разрушителей империи.

Тем не менее это не отменяет того факта, что феномен либерализма, в том числе и российского, не может быть до конца понят вне учета его диалога и пересечений с идеями нации и империи. Но на российском материале, как справедливо отмечает Рэбоу-Эдлинг, эта проблематика практически не разработана. Западные исследо-

9 Тенденция «интегрального национализма» вообще была сильнее проявлена в Центрально-Восточной и Восточной Европе. Поэтому до сих пор как в русском, так и в других языках региона слово «национализм» имеет сильную эмоционально-негативную коннотацию и практически смешивается с понятием «шовинизм». В английском же и французском языках это скорее нейтральный термин, обозначающий специфическую форму массовой политической идентичности, характерную для эпохи модерна.

ватели российского либерализма, по ее наблюдению, концентрировались прежде всего на его слабости, вторичности, консерватизме, религиозно-умозрительном характере. На либеральный национализм в Russian studies обращали мало внимания, сосредоточиваясь на крайних правых формах антилиберального национализма. Это было связано с тем, что на Россию долгое время смотрели в перспективе концепции Ханса Кона о двух типах национализма, «западном» (прогрессивном, либеральном, инклюзивном) и «восточном» (реакционном, консервативном, эксклюзивном), и концепции Лии Гринфельд о либертарианском (индивидуалистическом) и авторитарном (коллективистском) типах национализма<sup>10</sup>. Элиты незападных обществ вынуждены были соединять в своей деятельности две конфликтующие между собой повестки — модернизации (вестернизации) и формирования культурной аутентичности. По мнению Гринфельд, незападный национализм был реакцией на ощущение отсталости, в нем оригинальная либеральная модель западного национализма искажалась, принимая антизападные, антимодерные формы. Российский тип национализма считался в этой оптике «восточным», ресентиментным по отношению к Западу и антилиберальным по своей природе. Оказывалось, что в России, в отличие от Запада, либерал не может быть националистом, а подобные проявления в российской либеральной мысли должны были свидетельствовать о непоследовательном, консервативном характере российского либерализма.

Однако со временем эта концепция, называемая националистической дихотомией, стала подвергаться критике. Оппоненты отмечали, что «чистый» гражданский национализм невозможен, что национализм имеет «восточные» этнокультурные черты и на Западе. В конце концов, «Action française» и идеи Шарля Моррасса в конце XIX в. родились не в Москве и не в Петербурге. Просто в руссификации эта дихотомия дольше сохраняла свое влияние и дольше не ставилась под сомнение. Она «удачно» экзотизировала Россию, отделяла ее от Запада, хорошо коррелировала с присущими западной русистике идеями об «особом» российском пути, «загадочной душе» и, в конце концов, была удобна как для «руссофилов», так и для «руссофобов».

Книга Рэбу-Эдлинг посвящена взаимодействию российского либерализма с национализмом и империализмом в период с 1825 по 1917 г. Это исследование не российской либеральной мысли как таковой, а российских форм либерального национализма и либерального империализма. Автор видит свою задачу в том, чтобы поставить под сомнение идеи о «русской исключительности» и «врожденном антилиберальном характере российского общества». По ее мнению, в России была своя модель либерализма, связанная с европейской и так же, как и последняя, интегрировавшая в себя идеи национализма и империализма. Лишь осознав взаимосвязь либерализма, национализма и империализма как на Западе, так и на Востоке, мы сможем понять, что российские либералы думали о нации и империи.

Рэбу-Эдлинг выделяет четыре фазы в истории российского либерального национализма: декабристскую, «западническую» (1830—1840-е гг.), раннелиберальную (1850—1860-е гг.) и кадетскую (начало XX в.). Наиболее ясно идея российского либерального национализма была сформулирована, по мнению исследовательницы, декабристами. Оба их конституционных проекта, а именно конституции Никиты Муравьева и Павла Пестеля, отражали западную по происхождению идею гражданской нации. Отличались они только степенью ассимиляции членов единого гражданского национального сообщества.

10 См.: *Kohn H. Nationalism, Its Meaning and History* / Malabar, FL: Krieger, 1965. P. 16—38; *Гринфельд Л. Национализм: пять путей к современности* / Пер. с англ. Т.И. Грингольц, М.Р. Вирозуба. М.: ПЕР СЭ, 2012. С. 34—39.



И хотя в 1830-е гг. дискуссии западников и славянофилов приняли более абстрактно-философский характер, но все же это было первое столкновение идеи культурной аутентичности и модернизации. Западники продемонстрировали при этом возможность отличного от антизападного и антимодерного этнического национализма ответа на проблему имитативной модернизации. Они считали, что Россия должна быть частью Европы и идти западным путем, но не имитировать Запад. Современная, прогрессивная, европейская российская культура как важная часть общеевропейской — вот ответ западников на дилемму модернизации и аутентичности. Россия, как и все другие европейские страны, должна создать свою национальную европейскую культуру, европейский характер которой не будет означать подражания кому бы то ни было, так же как не предполагают подражания проекты французской или британской национальных культур. Национальная же культура для своего существования, очевидно, нуждалась в нации, которая развивалась бы органично и самобытно на основе западного просвещения. Идея единой национальной культуры была особенно близка именно либеральному крылу западников (в отличие от радикального).

После Крымской войны либерализм стал рассматриваться российскими либералами прежде всего как средство укрепления государства и защиты национальных интересов. Либеральные реформы, отмена крепостного права должны были создать современную бессловную гражданскую нацию, существование которой было предпосылкой модернизации страны. Российская гражданская нация должна была возникнуть внутри империи и модернизировать ее.

Что же касается темы империи, то она, по мнению Эбоу-Эдлинг, заняла важное место в российской либеральной мысли в пореформенное время. Петр Струве и Павел Милюков представляли две модели российского либерального империализма. Концепция Струве предполагала ассимиляцию нерусского населения, в то время как Милюков исходил из необходимости защиты меньшинств и федерализации. Струве был более оптимистичен в отношении прогрессивного потенциала империи, считал имперскую мощь необходимым условием выживания в современном мире в сочетании с либеральным нациестроительством внутри страны. Струве, таким образом, в отличие от более ранних либералов (вроде Чичерина), добавлял к либерализму имперское измерение. Либерализм — основа империи. Необходимо освобождение народа и культуры, свободное и добровольное участие народа в имперском проекте Великой России, основанной на русской культурной традиции. Самые прогрессивные современные государства, по его мысли, являются либеральными и открыто империалистическими одновременно. Такой модели, по мысли Струве, должна следовать и Россия. Естественный процесс национальной интеграции превратит Российскую империю в национальное государство с единой нацией.

Милюков же, в отличие от Струве, считал, что сохранить единство империи можно только признавая ее внутреннее многообразие и идя на встречу требованиям нерусских меньшинств. Россия Милюкова должна была двигаться по пути Австро-Венгрии — к федерализму. Во время Первой мировой войны и после февраля 1917 г. позиция кадетов становится более консервативной и развивается в направлении идеи «единой и неделимой» империи с польской и финской автономиями. Царизм критиковали уже скорее за слабость и неспособность удержать империю и великодержавные позиции России. Кадеты встали в это время на позиции «государственности» и «надклассовости», не хотели идти навстречу социальным требованиям. Таким образом, им не удалось предложить российскому обществу основанный на социальных реформах инклюзивный проект гражданской нации, привлекательный для рабочих, крестьян и национальных меньшинств. Именно поэтому российский либерализм был вытеснен (а точнее — сметен) с по-

литической сцены левым проектом, предложившим непривилегированным группам модель социальной инклюзивной общности.

Все это подводит нас к вопросу о соотношении нации и империи. В последнее время происходит активное переосмысление исторической природы их взаимосвязи. Возникла «новая имперская история», которая уже не исходит из традиционного понимания нации как следующего этапа исторического прогресса, следующим за имперским этапом. Империя уже не выглядит как однозначно домодерное, архаичное политическое образование, на смену которому приходит современная прогрессивная нация. Происходит отказ от устоявшейся как в марксистской, так и в либеральной историографии «парадигмы тюрьмы народов» (Ф. Тьер), в соответствии с которой нации вызревают в рамках империи и вырываются на свободу из-под ее гнета в ходе прогрессивной освободительной борьбы. То, что говорилось выше о взаимоотношениях национализма и империализма во взглядах российских либералов, хорошо иллюстрирует ключевой тезис «новой имперской истории», которая констатирует

невозможность локализовать историческую точку перехода из мира империй в мир наций, а равно и некорректность деления исторического опыта на специфически имперский и национальный. Тем самым появляется возможность осмыслить империю и нацию не как воплощенные в реальности политические и социальные явления, а как категории анализа, которые позволяют описывать отличные векторы исторического процесса и диспозиции исторических сил. Если один вектор связан с производством, воспроизводством и инструментализацией многообразия, то другой — с гомогенизацией и инструментализацией культурной, социальной и политической однородности<sup>11</sup>.

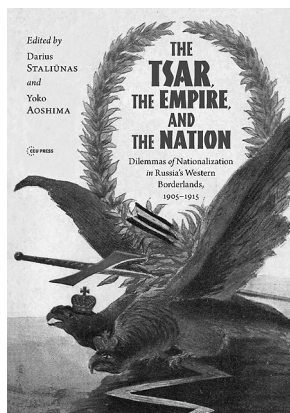
Этапным явлением на пути научного переосмысления взаимосвязей имперского и национального стал выход в 2015 г. коллективного труда «Национализируя империю» под редакцией А. Миллера и С. Бергера<sup>12</sup>.

Практическим применением к конкретным региону и историческому периоду указанного подхода «новой имперской истории» является последнее из рассматриваемых здесь изданий — коллективная монография «Царь, империя и нация: дилеммы национализации российских западных окраин 1905—1915 гг.» под редакцией Дариуса Сталюнаса и Йоко Аошима<sup>13</sup>. В книге рассматриваются процессы в двенадцати западных губерниях Российской империи в последние десятилетия существования царизма. Именно там и тогда империя впервые встретилась с вызовами современного национализма. Общий вывод из представленных в книге кейсов заключается в слабости имперских структур, их неспособности дать адекватный ответ на вызовы национализма.

11 Герасимов И., Могильнер М., Семенов А. В поисках ясности // Мифы и заблуждения в изучении империи и национализма / Ред.-сост. И. Герасимов, М. Могильнер, А. Семенов. М.: Новое изд-во, 2010. С. 11—12.

12 Nationalizing Empires / Ed. by A. Miller, S. Berger. Budapest; N.Y.: Central European University Press, 2015 (рец.: Васильев А. Национализация империй: уходя от «вестфальской ортодоксии» (Рец. на кн.: Nationalizing Empires. Budapest; N.Y., 2015) // Новое литературное обозрение. 2017. № 144. С. 509—518). Конкретным применением этого подхода к Российской империи можно рассматривать кн.: Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2008.

13 Это издание можно рассматривать как своего рода продолжение кн.: Западные окраины Российской империи / Под ред. М. Долбилова и А. Миллера. М.: Новое литературное обозрение, 2006.



Том состоит из четырех разделов, каждый из которых касается определенного аспекта соотношения имперского и национального в жизни западных регионов Российской империи начала XX в. Первый раздел посвящен трансформациям имперской национальной политики и воздействию националистической идеологии на бюрократическое мышление и управленческие практики. Авторы рассматривают конкурирующие политические стратегии и влияние либерализации режима на возможности эффективного управления. Они показывают, как имперская бюрократия пыталась проводить политику поддержки восточнославянского населения и дискриминации «инородцев», одновременно идя навстречу требованиям нерусского населения

в культурно-образовательной сфере с целью добиться от него лояльности империи. Та или другая тенденция могла ситуативно брать верх в тот или иной момент, однако окончательного доминирования не достигала ни та, ни другая, а имперская политика в целом утрачивала последовательность и предсказуемость.

Исследователь из Школы исторических наук НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) *Антон Котенко* сосредоточивается на взаимоотношениях правительства с русским и украинским национальными движениями в юго-западных губерниях. Малороссийское (украинское) население рассматривалось империей как часть «триединого русского народа» наряду с великорусским и западнорусским (белорусским) населением. Однако революция 1905 г. легализовала публикации на украинском языке, ослабила натиск властей на украинскую культуру. Часть чиновников склонялась к тому, чтобы между политикой гомогенизации населения и обеспечением стабильности выбирать последнее. Конкуренция разных форм видения национальной проблемы в империи, а также важные политические изменения после революции 1905 г. привели, по мнению автора, к тому, что в последние годы царского режима последовательная ассимиляционная политика уже не проводилась: это была, по словам Котенко, «непоследовательная национализирующаяся империя».

Научный сотрудник Института истории Литвы и преподаватель Вильнюсского университета *Дариус Сталиюнас* также обращается к проблеме непоследовательности имперской национальной политики в Северо-Западном крае, отмечая сосуществование двух конкурирующих линий, одна из которых предлагала удовлетворить определенные культурные требования нерусского населения с целью обеспечить его лояльность, а другая требовала продолжать «жесткий курс», взятый после Январского восстания, стараться ассимилировать восточнославянское население в рамках проекта «единого русского народа», а также сегрегировать и дискриминировать еврейское, польское (и католическое вообще) население. Автор показывает, что даже сами представители царской администрации отдавали себе отчет в неэффективности обеих стратегий в долгосрочной перспективе.

Автор третьей статьи, профессор истории Центральной и Восточной Европы Ольденбургского университета *Мальте Рольф*<sup>14</sup>, рассматривает дилеммы имперской политики в Царстве Польском. Развивавшееся в регионе русское националистическое движение при поддержке определенной части элиты требовало от царской бюрократии продвижения проекта «русского дела» в Царстве Польском.

14 На русском языке опубликована монография автора: *Рольф М.* Польские земли под властью Петербурга: от Венского конгресса до Первой мировой / Пер. с нем. К. Левинсона. М.: Новое литературное обозрение, 2020.

Однако варшавский генерал-губернатор Георгий Скалон не был готов в полной мере проводить такую политику. Он оставался сторонником сохранения порядка в западной части империи на основании скорее сословной логики, чем национальной. Требования радикальных русских националистов, с его точки зрения, могли подрывать основы порядка и поэтому не могли быть в полной мере поддержаны имперской администрацией. Это приводило к «двойной изоляции» имперской администрации Царства Польского. Она оказывалась чужой и враждебной как для местного нерусского населения (прежде всего поляков и евреев), так и для русских националистов. Царская администрация в регионе не имела стратегического видения способов управления полиэтничными окраинами и была вынуждена принимать разнонаправленные и при этом тупиковые ситуативные решения.

Второй раздел посвящен религиозной проблематике. В центре внимания — статус религиозных сообществ в регионе после революции 1905 г. Научный сотрудник отдела истории XIX в. Института истории Литвы *Вильма Жалкаускайте* рассматривает влияние Закона о веротерпимости 1905 г., позволившего переходить из православия в другие конфессии, на ситуацию в Северо-Западном крае. Здесь большинство «упорствовавших», сопротивлявшихся насильственному обращению в православие в 1860-х гг. и стремившихся вернуться в католицизм после принятия Закона о веротерпимости, были белорусскими римскими католиками. Автор отмечает, что противостояние католического духовенства и верующих, нерусского населения и национальных движений нерусских народов, с одной стороны, и православных общин, духовенства и имперской администрации — с другой, имело долгую предысторию в регионе, а некоторое обострение религиозной политики властей около 1908 г. не способствовало смягчению ситуации.

Преподаватель Токийского университета международных исследований *Чихо Фукушима* рассматривает воздействие Закона о веротерпимости, на процессы образования наций. Анализируя эти процессы в Хелмско-Подляшском регионе, автор указывает, что разрешение покидать православие привело к массовому переходу в римский католицизм некогда насильственно обращенных в православие униатов, которые стали при этом хорошо интегрированными членами польского сообщества. Те же, кто остался верен православию, стали русскими.

Третий раздел посвящен связанным с революцией 1905 г. трансформациям в области образования. Доцент центра славяно-евроазиатских исследований Университета Хоккайдо *Йоко Аошима* подчеркивает в своей статье, что после революции 1905 г. власти Российской империи обсуждали образовательную политику скорее в общегосударственном масштабе, чем на региональном уровне. При этом место разных регионов на российской ментальной карте было разным. Это приводило к тому, что, как и до революции, отсутствовало единообразие в области допущения родных языков народов империи в образовательную систему. Объектом рассмотрения автора являются Балтийские провинции и Царство Польское. Он показывает, что дискуссии об использовании нерусских языков в образовании носили здесь преимущественно региональный характер, хотя центральное правительство в результате революции 1905 г. и допустило на общегосударственном уровне более широкое использование нерусских языков в школьной практике при сохранении общего доминирования русского языка и соблюдении «жизненных интересов государства». Все эти дискуссии в центре вызывали все возрастающие требования со стороны национальных сообществ. Губернаторы, следуя инструкциям из центра, все чаще удовлетворяли их требования. Это, в свою очередь, все больше беспокоило правительство, пытавшееся одновременно сохранить языковую интегральность Империи. В итоге управление в этой области хаотизировалось.

*Кимитака Матсузато*, профессор Школы права и политики Токийского университета, исследует проблемы введения всеобщего образования на Правобережной Украине после 1905 г. Правительство стремилось создать как можно более широкую сеть начальных государственных и земских школ, обеспечив детям как можно более широкий доступ к начальному образованию. Политической целью реформы было ограничение числа приходских школ, под эгидой которых разрасталась система подпольного польского образования. Однако нехватка средств заставляла правительство обращаться к местным сообществам, а те, в свою очередь, предпочитали финансировать не начальные школы, а учебные заведения более высокого уровня.

Старший научный сотрудник Института литовской культуры *Йолита Мулевичиуте* исследует механизмы производства имперской лояльности в Северо-Западном крае при помощи организации массового туризма. Политический аспект этих педагогических практик стал, по ее мнению, особенно очевиден в организации школьных экскурсий, которые были основной формой групповых экскурсий в северо-западных губерниях. Аспект политической пропаганды становился все более очевидным после 1910 г., когда на этот счет были изданы официальные директивы. Целью этих экскурсий было воспитание патриотизма: новое поколение должно было учиться воспринимать свой край в общеимперском контексте. Власти стремились интегрировать, прежде всего ментально, население Северо-Западного края (то есть бывшего Великого Княжества Литовского) в общеимперское пространство. Однако интеграция этих территорий в ментальную карту России происходила медленно, и это туристическое направление в общероссийском контексте оставалось маргинальным. Анализ происхождения практик массового туризма позволяет проследить изменение стратегий интеграции империи и то, как в этой сфере властные практики переплетались с культурными механизмами, направленными на моделирование коллективного социального опыта подданных империи. Остается, однако, открытым вопрос о том, как в реальности эти туристические практики влияли на массовое сознание; есть основания полагать, что подчас эффект был обратным искомой интеграции местных сообществ в общеимперский контекст.

*Ольга Мастяница*, научный сотрудник Института истории Литвы, рассматривает проблему формирования имперской лояльности в образовательной системе Северо-Западного края в период с 1905 по 1915 г. Она отмечает, что и после революции 1905 г. ни центральное правительство, ни местные органы образования не искали специфических методов обеспечения лояльности империи, направленных именно на молодежь северо-западных губерний. Такие школьные предметы, как история и география, преподавались по тем же методикам, что и во внутренних провинциях Российской империи. Преподавание истории Северо-Западного края и после 1905 г. в основном опиралось на концепцию истории России, разработанную в 1830-х гг. Николаем Устряловым: согласно ей, Великое княжество Литовское было таким же русским в этническом и конфессиональном отношениях государством, как и Московское княжество. Попытки некоторых учителей уделять больше внимания истории и географии Северо-Западного края были редкостью, более того, любое желание углубить знания об историческом прошлом и природе своего региона могло предлагаться ученикам только как этап познания «большой Родины». В принципе любое акцентирование внимания на региональном измерении, даже если речь шла об особом внимании к российской истории региона, не приветствовалось и считалось потенциально чреватом сепаратизмом.

Авторы четвертого раздела рассматривают общие черты и вариативные модели взаимоотношений царского правительства с русским правым национализмом на западных окраинах Российской империи. Исследователь из Института истории Литвы *Витаутас Петронис* отмечает, что в Северо-Западном крае правые орга-

низации различной ориентации — как умеренные националисты, так и крайние (радикалы и монархисты) — возникли в начале XX в. Первые были более влиятельны в так называемых литовских провинциях, вторые — в белорусских землях. Однако ни у кого из них не было определенной идеологии или стратегии, которые интегрировали бы нерусские национализмы в общие рамки империи. Имперское правительство поддерживало все эти организации в период с 1905 по 1907 г., а затем скорее использовало ситуативно в качестве политического инструмента. По мнению автора, после 1910 г. государственная их поддержка ослабла. Начиная с 1908 г. имперская национальная политика на западной периферии становилась все более дискриминационной по отношению к нерусским. В этом смысле имперское правительство как бы шло навстречу пожеланиям крайне правых, однако этот сдвиг не произошел синхронно во всех «нерусских» перифериях империи.

Профессор эстонской и всеобщей истории Таллинского университета и вице-президент Балтийской исторической комиссии *Карстен Брюггеман* отмечает в своей статье своеобразие балтийских провинций по сравнению с северо-западными губерниями. Здесь был очень маленький процент русского населения, поэтому и требования русских националистов оказывались более радикальными. Они, в частности, предлагали организацию переселения русских крестьян в этот регион с одновременным стимулированием «добровольного» выезда эстонцев и латышей. Для царского правительства эти планы выглядели утопическими и опасными с точки зрения возможной дестабилизации ситуации в регионе, поэтому правые русские националисты и не получили здесь правительственной поддержки.

Наконец, в статье *Владимира Левина*, директора Центра еврейского искусства при Еврейском университете в Иерусалиме, ставится вопрос о том, почему в Российской империи не появилось правоконсервативных еврейских организаций. Автор отмечает, что между правительством и правыми русскими националистами не было существенных разногласий по «еврейскому вопросу»: ни одна из сторон в принципе не планировала давать евреям равные со всеми остальными подданными права. В существовавших как у имперской бюрократии, так и у правых националистов представлениях о евреях можно видеть определенную динамику. Если во время революции 1905 г. евреи занимали первое место в «иерархии врагов» империи, то впоследствии, по мере приближения к Первой мировой войне, их место в этой иерархии заняли немцы. Равные права евреи получили только после Февральской революции. Однако к ним продолжали относиться как к «гражданам второго сорта», что и сделало невозможным создание правоконсервативных еврейских организаций. Отдельные консервативные евреи, евреи-лоялисты, пытавшиеся объединиться в правые еврейские организации и сотрудничать с русскими правыми, конечно, были, однако, как показывает автор, успеха не имели.

Подводя итоги, можно констатировать, что к настоящему времени сложилась уже весьма зрелая и устойчивая традиция в мировой историографии, заключающаяся в переосмыслении и дезэзотизации российского опыта либерализма и его связей с идеями нации и империи, а также соотношения имперского и национального в истории империй вообще и в истории Российской империи в частности. Предпринятый здесь анализ позволяет заключить, что основные тенденции этого переосмысления состоят, во-первых, в признании общности российской и западной версий либерализма, во-вторых, в выявлении сущностных взаимозависимостей между либерализмом, либеральным национализмом и империализмом, характерных как для западной, так и для российской политической культуры, и, наконец, в осмыслении «национальных» последствий имперской политики, наблюдавшихся опять же отнюдь не только в поздней Российской империи.